

ТАРАС БУЛЬБА



I

— **А** поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! Что это на вас за поповские подрясники? И эдак все ходят в академии? — такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевской бурсе и приехавших уже на дом к отцу.

Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжих молодца, ещё смотревшие исподлобья, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого ещё не касалась бритва. Они были очень смущены таким приёмом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю.

— Стойте, стойте! Дайте мне разглядеть вас хорошенько, — продолжал он, поворачивая их, — какие же длинные на вас свитки!¹ Экие свитки! Таких свиток ещё и на свете не было. А побегу который-нибудь из вас! Я посмотрю, не шлёпнется ли он на землю, запутавшись в полы.

— Не смейся, не смейся, батьку! — сказал, наконец, старший из них.

— Смотри ты, какой пышный! А отчего ж бы не смеяться?

— Да так, хоть ты мне и батько, а как будешь смеяться, то ей-богу, поколочу!

¹ Верхняя одежда у южных россиян. (*Прим. Гоголя.*)

— Ах ты, сякой-такой сын! Как, батька?.. — сказал Тарас Бульба, отступивши с удивлением несколько шагов назад.

— Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого.

— Как же хочешь ты со мною биться? разве на кулаки?

— Да уж на чём бы то ни было.

— Ну, давай на кулаки! — говорил Бульба, засучив рукав, — посмотри я, что за человек ты в кулаке!

И отец с сыном, вместо приветствия после давней отлучки, начали садить друг другу тумачи в бока, и в поясницу, и в грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая.

— Смотрите, добрые люди: одурел старый! совсем спятил с ума! — говорила бледная, худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая ещё обнять ненаглядных детей своих. — Дети приехали домой, больше году их не видели, а он задумал невесть что: на кулаки биться!

— Да он славно бьётся! — говорил Бульба, остановившись. — Ей-богу хорошо! — продолжал он, немного оправляясь, — так, хоть бы даже и не пробовать. Добрый будет козак! Ну, здорово, сынку! почеломкаемся!

И отец с сыном стали целоваться.

— Добре, сынку! Вот так колоти всякого, как меня тузил. Никому не спускай! А всё-таки на тебе смешное убранство: что это за верёвка висит? А ты, бейбас¹, что стоишь и руки опустил? — говорил он, обращаясь к младшему, — что ж ты, собачий сын, не колотишь меня?

— Вот ещё что выдумал! — говорила мать, обнимавшая между тем младшего. — И придёт же в голову

¹ Бейбас — балбес.

этакое, чтобы дитя родное било отца. Да будто и до того теперь; дитя молодое, проехало столько пути, утомилось... (это дитя было двадцати с лишком лет и ровно в сажень ростом). Ему бы теперь нужно опочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет его биться!

— Э, да ты мазунчик¹, как я вижу? — говорил Бульба. — Не слушай, сынку, матери: она баба, она ничего не знает. Какая вам нежба? Ваша нежба — чистое поле да добрый конь: вот ваша нежба! А видите вот эту саблю? вот ваша матерь! Это всё дрянь, чем набивают головы ваши; и академия, и все те книжки, буквари, и философия, всё это *ка зна що*, я плевать на всё это!.. — Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печати. — А вот, лучше, я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. Вот где наука, так наука! Там вам школа; там только наберётесь разуму.

— И всего только одну неделю быть им дома? — говорила жалостно, со слезами на глазах, худошавая старуха-мать. — И погулять им, бедным, не удастся; не удастся и дому родного узнать, и мне не удастся наглядеться на них!

— Полно, полно выть, старуха! Козак не на то, чтобы возиться с бабами. Ты бы спрятала их обоих себе под юбки да и сидела бы на них, как на куриных яйцах. Ступай, ступай, да ставь нам скорее на стол всё, что есть. Не нужно пампушек, медовиков, маковников и других пундиков; тащи нам всего барана, козу давай, меды сорокалетние! Да горелки побольше, не с выдумками горелки, с изюмом и всякими вытребеньками, а чистой, пенной горелки, чтобы играла и шипела, как бешеная.

Бульба повёл сыновей своих в светлицу, откуда проворно выбежали две красивые девки-прислужницы

¹ Мазунчик — маменькин сынок.

в червонных монистах, прибивавшие комнаты. Они, как видно, испугались приезда паничей, не любивших спускаться никому, или же просто хотели соблюсти свой женский обычай: вскрикнуть и броситься опростетью, увидевши мужчину, и потом долго закрываться от сильного стыда рукавом. Светлица была убрана во вкусе того времени, о котором живые намёки остались только в песнях да в народных думах, уже не поющих более на Украине бородатými старцами-слётками, в сопровождении тихого треньканья бандуры, и в виду обступившего народа; во вкусе того бранного, трудного времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украине за унию. Всё было чисто, вымазано цветной глиною. На стенах — сабли, нагайки, сетки для птиц, невода и ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка на коня и путы с серебряными бляхами. Окна в светлице были маленькие, с круглыми, тусклыми стёклами, какие встречаются ныне только в старинных церквях, сквозь которые иначе нельзя было глядеть, как приподняв подвижное стекло. Вокруг окон и дверей были красные отводы. На полках по углам стояли кувшины, бутылки и фляжки зелёного и синего стекла, резные серебряные кубки, позолоченные чарки всякой работы; венецейской, турецкой, черкесской, зашедшие в светлицу Бульбы всякими путями через третьи и четвёртые руки, что было весьма обыкновенно в те удалые времена. Берестовые скамьи вокруг всей комнаты; огромный стол под образами в парадном углу; широкая печь с запечьями, уступами и выступами, покрытая цветными, пёстрыми изразцами — всё это было очень знакомо нашим двум молодцам, приходившим каждый год домой на каникулярное время, приходившим потому, что у них не было ещё коней, и потому, что не в обычае было позволять школярам ездить верхом. У них были только длинные

чубы, за которые мог выдрать их всякий козак, носивший оружие. Бульба только при выпуске их послал им из табуна своего пару молодых жеребцов.

Бульба по случаю приезда сынов ей велел созвать всех сотников и весь полковой чин, кто только был налицо; и когда пришли двое из них и есаул Дмитро Товкач, старый его товарищ, он им тот же час их представил, говоря: «Вот, смотрите, какие молодцы! На Сечь их скоро пошлю». Гости поздравили и Бульбу и обоих юношей и сказали им, что доброе дело делают и что нет лучшей науки для молодого человека, как Запорожская Сечь.

— Ну ж, паны братья, садись всякий, где кому лучше за стол. Ну, сынки! прежде всего выпьем горелки? — так говорил Бульба. — Боже, благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остап, и ты, Андрий! Дай же боже, чтоб вы на войне всегда были удачливы! Чтобы бусурменов били, и турков бы били, и татарву били бы; когда и ляхи начнут что против веры нашей чинить, то и ляхов бы били! Ну, подставляй свою чарку; что, хороша горелка? А как по-латыни горелка? То-то, сынку, дурни были латынцы: они и не знали, есть ли на свете горелка. Как, бишь, того звали, что латинские вирши писал? Я грамоте разумею не сильно, а потому и не знаю: Гораций, что ли?

«Вишь, какой батько, — подумал про себя старший сын Остап, — всё, старый собака, знает, а ещё и прикидывается».

— Я думаю, архимандрит не давал вам и понюхать горелки, — продолжал Тарас. — А признайтесь, сынки, крепко стегали вас берёзовыми и свежим вишняком по спине и по всему, что ни есть у козака? А может, так как вы сделались уже слишком разумные, так, может, и плетюганями пороли? Чай, не только по субботам, а доставалось и в середу и в четверги?

— Нечего, батько, вспоминать, что было, — отвечал хладнокровно Остап, — что было, то прошло!

— Пусть теперь попробует! — сказал Андрий, — пускай только теперь кто-нибудь зацепит. Вот пусть только подвернётся теперь какая-нибудь татарва, будет знать она, что за вещь козацкая сабля!

— Добре, сынку! Ей-богу, добре! Да когда на то пошло, то и я с вами еду! ей-богу еду! Какого дьявола мне здесь ждать? Чтоб я стал гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами, да за свиньями, да бабиться с женой? Да пропади она: я козак, не хочу! Так что же, что нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье, погулять. Ей-богу, еду! — И старый Бульба мало-помалу горячился, горячился, наконец, рассердился совсем, встал из-за стола и, приосанившись, топнул ногою. — Завтра же едем! Зачем откладывать! Какого врага мы можем здесь высидеть? На что нам эта хата? К чему нам всё это? На что эти горшки?

Сказавши это, он начал колотить и швырять горшки и фляжки. Бедная старушка, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего говорить: но, услыша о таком страшном для неё решении, она не могла удержаться от слёз; взглянула на детей своих, с которыми угрожала ей такая скорая разлука, — и никто бы не мог описать всей безмолвной силы её горести, которая, казалось, трепетала в глазах её и в судорожно сжатых губах. Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли только возникнуть в тяжёлый XV век на полукочующем углу Европы, да вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена до тла неукротимыми набегами монгольских хищников; когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек; когда на пожарищах, в виду грозных

соседей и вечной опасности, селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете; когда бранным пламенем объялся древле-мирный славянский дух, и завелось козачество — широкая разгульная замашка русской природы, — и когда все поречья, перевозы, прибрежные пологие и льготные места усеялись козаками, которым и счёту никто не ведал, и смелые товарищи их были вправе отвечать султану, пожелавшему знать о числе их: «Кто их знает! у нас их раскидано по всему степу: что байрак, то козак» (что маленький пригорок, там уж и козак). Это было, точно, необыкновенное явление русской силы: его вышибло из народной груди огниво бед. Вместо прежних уделов, мелких городков, наполненных псарями и ловчими, вместо враждующих и торгующихся городами мелких князей возникли грозные селения, курени и околицы, связанные общей опасностью и ненавистью против нехристианских хищников. Уже известно всем из истории, как их вечная борьба и беспокойная жизнь спасли Европу от сих неукротимых стремлений, грозивших её опрокинуть. Короли польские, очутившиеся, наместо удельных князей, властителями сих пространных земель, хотя отдалёнными и слабыми, поняли значенье козаков и выгоды таковой бранной сторожевой жизни. Они поощряли их и льстили сему расположению. Под их отдалённую власть гетьманы, избранные из среды самих же козаков, преобразовали околицы и курени в полки и правильные округа. Это не было строевое собранное войско, его бы никто не увидал; но в случае войны и общего движенья, в восемь дней, не больше, всякий являлся на коне, во всём своём вооружении, получа плату один только червонец от короля, и в две недели набиралось такое войско, какого бы не в силах были набрать никакие рекрутские наборы. Кончился поход, — воин

уходил в луга и пашни, на днепровские перевозы, ловил рыбу, торговал, варил пиво и был вольный козак. Современные иноземцы дивились тогда справедливо необыкновенным способностям его. Не было ремесла, которого бы не знал козак: накурить вина, снарядить телегу, намотать пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и, в прибавку к тому, гулять напропало, пить и бражничать, как только может один русский, — всё это было ему по плечу. Кроме рейстровых козаков, считавших обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время, в случае большой потребности, набрать целые толпы охочекомонных: стоило только есаулам пройти по рынкам и площадям всех сёл и местечек и прокричать во весь голос, ставши на телегу: «Эй, вы, пивники, броварники! полно вам пиво варить, да валяться по запечьям, да кормить своим жирным телом мух! Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плугари, гречкосеи, овцепасы, баболюбы! полно вам за плугом ходить да пачкать в землю свои жёлтые чоботы, да подбираться к жинкам и губить силу рыцарскую! Пора доставать козацкой славы!» И слова эти были, как искры, падавшие на сухое дерево. Пахарь ломал свой плуг, бровари и пивовары кидали свои кади и били бочки, ремесленник и торгош посылал к чёрту и ремесло и лавку, бил горшки в доме. И всё, что ни было, садилось на коня. Словом, русский характер получил здесь могучий, широкий размах, дюжую наружность.

Тарас был один из числа коренных, старых полковников: весь был он создан для бранной тревоги и отличался грубой прямою своего нрава. Тогда влияние Польши начинало уже оказываться на русском дворянстве. Многие перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Он любил простую жизнь

козаков и перессорился с теми из своих товарищей, которые были склонны к варшавской стороне, называя их холопьями польских панов. Неугомонный вечно, он считал себя законным защитником православия. Самоуправно входил в сёла, где только жаловались на притеснения арендаторов и на прибавку новых пошлин с дыма. Сам с своими козаками производил над ними расправу и положил себе правилом, что в трёх случаях всегда следует взяться за саблю, именно: когда комиссары не уважили в чём старшин и стояли пред ними в шапках; когда поглумились над православием и не почтили предковского закона и, наконец, когда враги были бусурманы и турки, против которых он считал во всяком случае позволительным поднять оружие во славу христианства. Теперь он тешил себя заранее мыслью, как он явится с двумя сыновьями своими на Сечь и скажет: «Вот посмотрите, каких я молодцов привёл к вам!»; как представит их всем старым, закалённым в битвах товарищам; как поглядит на первые подвиги их в ратной науке и бражничестве, которые почитал тоже одним из главных достоинств рыцаря. Он сначала хотел было отправить их одних. Но при виде их свежести, рослости, могучей телесной красоты вспыхнул воинский дух его, и он на другой же день решился ехать с ними сам, хотя необходимостью этого была одна упрямая воля. Он уже хлопотал и отдавал приказы, выбирал коней и сбрую для молодых сыновей, наведывался и в конюшни и в амбары, отобрал слуг, которые должны были завтра с ними ехать. Есаулу Товкачу передал свою власть вместе с крепким наказом явиться сей же час со всем полком, если только он подаст из Сечи какую-нибудь весть. Хотя он был и навеселе и в голове ещё бродил хмель, однако ж не забыл ничего. Даже отдал приказ напоить коней и всыпать им в ясли крупной и первой пшеницы, и пришёл усталый от своих забот.

— Ну, дети, теперь надобно спать, а завтра будем делать то, что бог даст. Да не стели нам постель! Нам не нужна постель. Мы будем спать на дворе.

Ночь ещё только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом, потому что ночной воздух был довольно свеж и потому что Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор; всё, что ни лежало в разных его углах, захрапело и запело; прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился для приезда паничей. Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом; она расчёсывала гребнем их молодые, небрежно всклоченные кудри и смачивала их слезами; она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственной грудью, она возрастила, взлелеяла их — и только на один миг видит их перед собою.

— Сыны мой, сыны мои милые! Что будет с вами! Что ждёт вас? — говорила она, и слёзы остановились в морщинах, изменявших её когда-то прекрасное лицо. В самом деле она была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она миг только жила любовью, только в первую горячку страсти, в первую горячку юности, и уже суровый прельститель её покидал её для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видела мужа в год два-три дня, и потом несколько лет о нём не бывало слуха. Да и когда виделась с ним, когда они жили вместе, что за жизнь её была? Она терпела оскорбления, даже побои; она видела из милости только оказываемые ласки, она была какое-то странное существо в этом сборище безжённых рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой. Молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и её прекрасные свежие щёки и перси без

лобзаний отцвели и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, все чувства, всё, что есть нежного и страстного в женщине, всё обратилось у ней в одно материнское чувство. Она с жаром, с страстью, с слезами, как степная чайка, вилась над детьми своими. Её сыновей, её милых сыновей берут от неё, берут для того, чтобы не увидеть их никогда! Кто знает, может быть, при первой битве татарин срубит им головы, и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюёт хищная подорожная птица, и за каждый кусочек которых, за каждую каплю крови она отдала бы всё. Рыдая, глядела она им в очи, которые всемогущий сон начинал уже смыкать, и думала: авось либо Бульба, проснувшись, отсрочит денька на два отъезд; может быть, он задумал оттого так скоро ехать, что много выпил.

Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор. Она всё сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз своих и не думала о сне. Уже кони, чуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть; верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренно желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржание жеребёнка; красные полосы ясно сверкнули на небе. Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хорошо помнил всё, что приказывал вчера.

— Ну, хлопцы, полно спать! Пора, пора! Напойте коней! А где стара? (так он обыкновенно называл жену свою). Живее, стара, готовь вам есть, потому что путь великий лежит!

Бедная старушка, лишённая последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем как она со слезами готовила всё, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшие убранства. Бурсаки вдруг преобразились: на них явились, вместо прежних запачканных сапогов, сафьянные красные, с серебряными подковами; шаровары, шириною в Чёрное море, с тысячею складок и со сборами, перетянулись золотым очкуром; к очкуру прицеплены были длинные ремешки, с кистями и прочими побрякушками, для трубки. Казакин алого цвета, сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым поясом; чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс; сабля брякала по ногам их. Их лица, ещё мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели; молодые чёрные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый, мощный цвет юности; они были хороши под чёрными бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать! Она как увидела их, она и слова не могла промолвить, и слёзы остановились в глазах её.

— Ну, сыны, всё готово! нечего мешкать! — произнёс, наконец, Бульба. — Теперь, по обычаю христианскому, нужно перед дорогою всем присесть.

Все сели, не выключая даже и хлопцев, стоявших почтительно у дверей.

— Теперь благослови, мать, детей своих! — сказал Бульба, — моли бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь рыцарскую¹, чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то — пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете! Подойдите, дети, к матери: молитва материнская и на воде и на земле спасает.

¹ Рыцарскую. (Прим. Гоголя.)

Мать, слабая как мать, обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая, на шею.

— Пусть хранит вас... Божья Матерь... Не забывайте, сынки, мать вашу... пришлите хоть весточку о себе... — Далее она не могла говорить.

— Ну, пойдём, дети! — сказал Бульба. У крыльца стояли осёдланные кони. Бульба вскочил на своего Чёрта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Бульба был чрезвычайно тяжёл и толст. Когда увидела мать, что уже и сыны её сели на коней, она кинулась к меньшому, у которого в чертах лица выразалось более какой-то нежности; она схватила его за стремя, она прилипнула к седлу его и с отчаяньем во всех чертах не выпускала его из рук своих. Два дюжих козака взяли её бережно и унесли в хату. Но, когда выехали они за ворота, она со всею легкостью дикой козы, несообразной её летам, выбежала за ворота, с непостижимою силой остановила лошадь и обняла одного из них с какою-то помешанной, бесчувственной горячностью; её опять увели. Молодые козаки ехали смутно и удерживали слёзы, боясь отца своего, который, однако же, с своей стороны, тоже был несколько смущён, хотя не старался этого показывать. День был серый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали как-то в разлад. Они, проехавши, оглянулись назад; хутор их как будто ушёл в землю; только стояли на земле две трубы от их скромного домика, да одни только вершины деревьев, по сучьям которых они лазили как белки; один только дальний луг ещё стлался перед ними — тот луг, по которому они могли припомнить всю историю жизни, от лет, когда катались по росистой траве его, до лет, когда поджидали в нём чернобровую козачку, боязливо летевшую через него с помощью своих свежих, быстрых ножек. Вот уже один только шест над колодцем

с привязанным вверху колесом от телеги одиноко торчит на небе; уже равнина, которую они проехали, кажется издали горою и всё собою закрыла.

Прощайте и детство, и игры, и всё, и всё!

II

Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал о давнем: перед ним проходила его молодость, его лета, его протёкшие лета, о которых всегда почти плачет козак, желавший бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Он думал о том, кого он встретит на Сечи из своих прежних сотоварищей. Он вычислял, какие уже перемёрли, какие живут ещё. Слеза тихо круглилась на его зенице, и поседевшая голова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Но нужно сказать поболее о сыновьях его. Они были отданы по двенадцатому году в киевскую академию, потому что все почётные сановники тогдашнего времени считали необходимостью дать воспитание своим детям, хотя это делалось с тем, чтобы после совершенно позабыть его. Они тогда были, как все поступавшие в бурсу, дики, воспитаны на свободе, и там уже они обыкновенно несколько шлифовались и получали что-то общее, делавшее их похожими друг на друга. Старший, Остап, начал с того своё поприще, что в первый год ещё бежал. Его возвратили, высекли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывал он свой букварь в землю, и четыре раза, отодравши его бесчеловечно, покупали ему новый. Но, без сомнения, он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержать его в монастырских служках целые двадцать лет и не поклялся наперёд, что он не увидит Запорожья вовеки, если не выучится в академии всем наукам. Любопытно,

что это говорил тот же самый Тарас Бульба, который бранил всю учёность и советовал, как мы уже видели, детям вовсе не заниматься ею. С того времени Остап начал с необыкновенным старанием сидеть за скучною книгою и скоро стал наряду с лучшими. Тогдашний род учения страшно расходился с образом жизни. Эти схоластические, грамматические, риторические и логические тонкости решительно не прикасались к времени, никогда не применялись и не повторялись в жизни. Ни к чему не могли они привязать своих познаний, хотя бы даже менее схоластических. Самые тогдашние учёные более других были невежды, потому что вовсе были удалены от опыта. Притом же это республиканское устройство бursы, это ужасное множество молодых, дюжих, здоровых людей, — всё это должно было им внушить деятельность совершенно вне их учебного занятия. Иногда плохое содержание, иногда частые наказания голодом, иногда многие потребности, возбуждающиеся в свежем, здоровом, крепком юноше, всё это, соединившись, рождало в них ту предприимчивость, которая после развивалась на Запорожье. Голодная бурса рыскала по улицам Киева и заставляла всех быть осторожными. Торговки, сидевшие на базаре, всегда закрывали руками своими пироги, бублики, семечки из тыкв, как орлицы детей своих, если только видели проходившего бурсака. Консул, долженствовавший, по обязанности своей, наблюдать над подведомственными ему сотоварищами, имел такие страшные карманы в своих шароварах, что мог поместить туда всю лавку зазевавшейся торговли. Эта бурса составляла совершенно отдельный мир: в круг высший, состоявший из польских и русских дворян, они не допускались. Сам воевода, Адам Кисель, несмотря на оказываемое покровительство академии, не вводил их в общество и приказывал